**АЛЕССАНДРО БАРИККО**

**1900-й**

**(Монолог)**

**© Copyright Алессандро Барикко**

**© Copyright Перевод Валерия Николаева**

*Я написал этот текст для актера Эудженио Аллегри и режиссера Габриэле Вачиса. Они сделали спектакль, премьера которого состоялась на фестивале в Асти в июле нынешнего года. Не знаю, достаточно ли этого для того, чтобы утверждать, что я написал пьесу - у меня есть некоторые сомнения. Сейчас, когда я вижу текст в виде книги, мне он представляется скорее чем-то средним между пьесой и рассказом для чтения вслух. Полагаю, что не существует четкого названия для текстов подобного рода. Во всяком случае, для меня оно неважно. Мне кажется красивой сама история, которая заслуживает быть рассказанной. И мне доставляет удовольствие думать, что кто-то ее прочтет.*

*Сентябрь 1994 А.Б.*

Всегда случалось так, что некто вдруг поднимал голову... и видел ее. Это трудно понять... Я хочу сказать, что мы преодолевали многомильный путь на этом корабле среди путешествующих толстосумов, эмигрантов и прочего странного люда и мы... Однако всегда находился некто, некто один, один, тот, кто первым... видел ее. Может быть, он ужинал в эту минуту или прогуливался от нечего делать на палубе... может, поправлял штанину... и тут поднимал голову на мгновение, бросал взгляд на море... и видел ее. И останавливался, пригвожденный там, где стоял, и сердце его разрывалось на тысячу осколков, всегда, всякий проклятый раз, клянусь, всякий раз, увидевший ее поворачивался к нам, к кораблю, ко всем и кричал *(задавленным голосом и по слогам)*: А-ме-ри-ка! И оставался стоять, окаменев, словно позировал для фотографии, с лицом человека, который и создал ее, Америку. Вечерами, после работы, и по воскресеньям... с помощью кузена... каменщика, славного малого... сначала он хотел немного подзаработать на этом, но потом... с его малым участием… своими руками создал Америку...

Тот, кто первым видел Америку. На любом судне всегда найдется такой. И не надо думать, что подобное случается спонтанно, нет... и даже не по причине диоптрий... это судьба и только. У таких людей подобное мгновение занесено в их судьбы с рождения. Еще когда они были детьми, в их глазах ты мог увидеть, если б внимательно вгляделся, ты уже мог увидеть ее, Америку, готовую оторваться, соскользнуть по нервам и венам, до самого мозга, до языка и излиться тем самым криком *(кричит)*: А-МЕ-РИ-КА! А она уже там, в тех глазах, детских, вся она, Америка.

Там, в ожидании своего часа...

Эту истину мне открыл Дэнни Будмэн С.Д.Лемон 1900-й, величайший пианист, который когда-либо играл на просторах Океана. В глазах людей видится то, что они увидят, а не то, что они видели. Вот так он и сказал: то, что они увидят.

Уж я-то их повидал, Америк... Шесть лет на этом корабле, по шесть маршрутов ежегодно, от Европы до Америки и назад, в океанской сырости, и когда ты сходил на берег, тебе не удавалось даже попасть струей в писсуар. Он оставался неподвижным, но ты, тебя продолжало мотать из стороны в сторону. Во время плавания с судна тоже можно сойти, но только в Океан... Когда я поднялся на борт корабля, мне было всего шестнадцать. И единственное, что занимало меня в моей жизни, это игра на трубе. Поэтому, как только до меня дошел слух о том, что набирают людей на лайнер Вирджинец, там, в порту, я встал в очередь. Я и моя труба. Январь 1927. У нас полно трубачей, сказал мне тип из пароходной компании. Я знаю, ответил я и начал играть. Он стоял неподвижно и, глядя на меня, не дрогнув ни единым мускулом, не произнося ни слова, ждал, когда я закончу. Потом спросил:

«Что это было?»

«Понятия не имею».

Глаза его блестели.

«Если ты не знаешь, что это такое, тогда это джаз».

И что-то странное сделалось с его ртом, быть может, это была улыбка, один зуб у него был золотой, в самом центре, и казался выставленным в витрине на продажу.

«Они с ума сойдут там, наверху, от такой музыки».

Там, наверху - означало на корабле. А это подобие улыбки означало, что я принят.

Мы выступали по три-четыре раза в день. Сначала для богатой публики класса люкс, затем для такой же, но из второго класса, а иногда спускались к беднякам-эмигрантам и играли для них, но уже без униформы, а в чем были, и всякий раз они играли вместе с нами. Мы играли потому, что Океан был огромен и наводил ужас, играли, чтобы люди не чувствовали, как проходит время, и забыли, где находятся и кто они такие. Играли, чтобы заставить их танцевать, потому что если ты танцуешь, ты не можешь умереть и чувствуешь себя Богом. А играли мы регтаймы, потому что это музыка, под какую танцует Бог, когда никто Его не видит.

Под которую Бог танцевал, если бы Он только он был негром.

*(Актер уходит со сцены. Затихает музыка дикси, очень веселая, но, в сущности, идиотская. Актер возвращается на сцену одетым в элегантную униформу судового джазмена. С этого момента и далее он ведет себя так, будто оркестр физически присутствует на сцене)*

Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и мсье, синьоры... приветствую вас на этом корабле, в этом плавающем городе, который во всем походит на Титаник, спокойно, господа, оставайтесь на местах, господин там, внизу, это касается вас, я вижу вас хорошо, добро пожаловать в Океан, кстати, а что вы делаете здесь? Держу пари, у вас кредиторы на пятках, вы отстали на тридцать лет от золотой лихорадки, хотели осмотреть корабль и даже не заметили, что он отплыл, вы вышли на минуту купить сигареты, в этот самый момент ваша жена уже в полиции и рассказывает, каким вы были хорошим мужем, замечательным, за тридцать лет ни одной ссоры... В общем, какого черта вы здесь делаете, за триста миль от мерзопакостнейшего мира и в двух минутах от ближайшего позыва тошноты? Пардон, мадам, я пошутил, поверьте мне, эта посудина летит вперед, скользя, словно шар по биллиардному столу Океана, ток! еще шесть дней два часа сорок семь минут и плоп! в лузе, Нью-Йоооооорк!

*(Вступает оркестр).*

Я думаю, нет нужды объяснять вам, что этот корабль во многих смыслах исключителен и даже попросту уникален. Под командованием капитана Шмита, известного клаустрофоба и большого мудреца (вы, наверное, заметили, что он живет в спасательной шлюпке), на вас работает экипаж, редкостный коллектив профессионалов, абсолютно неординарных:

Пол Сежинский, рулевой, бывший польский ксендз, чувствительная натура, биотерапевт, к сожалению, слепой;

Билл Янг, радиотелеграфист, великий игрок в шахматы, левша и заика;

судовой врач, доктор Клаустерманшпицвегенсдорфентаг, захотите позвать его, если приспичит, у вас прежде крыша уедет,

и самое главное:

мсье Пардин,

шеф-повар,

родом непосредственно из Парижа, куда, однако, отбыл тотчас после того, как лично отметил одно любопытное обстоятельство - на этом корабле нет кухни, что также остроумно заметил месье Камамбер из 12 каюты, который сегодня пожаловался, что нашел умывальник полным майонеза, и это очень странно, потому что обычно в умывальниках мы держим тонко нарезанные продукты, по причине отсутствия кухни - явление, из-за которого мы, между прочим, не имеем на этом корабле настоящего повара, каким, несомненно, являлся мсье Пардин, вернувшийся в Париж, откуда он родом, после отчаянных попыток найти на судне кухни, которых, будем верными фактам, на самом деле нет и в помине, благодаря остроумной забывчивости его проектировщика, выдающегося инженера Камиллери, которому чужда мировая слава и которому я прошу адресовать ваши самые громкие и продолжительные аплодисмен-тыыыыыыыы...

*(Опять звучит оркестр).*

Поверьте мне, вы не найдете других таких кораблей: нет, конечно, если будете искать много лет, может быть, вы отыщете и капитана-клаустрофоба, и слепого рулевого, и заику-радиста, и доктора с непроизносимой фамилией, всех разом на одном судне без кухни. Не исключено. Но даже тогда с вами не случится, могу поклясться, то, что происходит сейчас и здесь, когда вы сидите задницами на десяти сантиметрах кресла, в сотне метров над водой, в самом сердце Океана, с чудом перед глазами и изумлением в ушах, с ногами, отбивающими ритм, и непревзойденной, неповторимой, бесконечной музыкой в сердце, исполняемой АТЛАНТИК ДЖАЗ БААААНДОМ!!!

*(Вступает оркестр. Актер представляет музыкантов одного за другим. За каждым именем следует короткое соло).*

Кларнет: Сэм «Соня» Вашингтон!

Банджо: Оскар Делагуера!

Труба: Тим Туней!

Тромбон: Джим Джим «Вздох» Гелап!

Гитара: Самуэль Хочкинс!

И наконец, за роялем... Дэнни Будмэн С.Д.Лемон 1900-й.

Самый великий!

*(Музыка резко прерывается. Актер оставляет тон конферансье и продолжает монолог, снимая униформу музыканта).*

Он действительно был им, величайшим музыкантом. Мы играли музыку - он творил нечто иное. Он играл... нечто, чего не существовало, пока он это не играл, понятно, оно не существовало нигде. И когда он вставал из-за рояля, этого вновь не существовало больше... и больше не будет никогда... Дэнни Будмэн С.Д.Лемон 1900-й. Последний раз, когда я его видел, он сидел на бомбе. Я не шучу. Он сидел на ящике с динамитом вот таких размеров... Это длинная история... Он говорил мне:

«Тебе, действительно, на все наплевать до тех пор, пока не заимеешь хотя бы одну хорошую историю и кого-то, кому можешь ее рассказать». У него была одна хорошая история. Он сам был своей хорошей историей. Безумной, если как следует подумать, но красивой... И в ту ночь, сидя на куче динамита, он мне ее подарил. Потому что я был его самым большим другом... Я берег ее все это время, и потом, если мне что-либо попадает в голову, это никогда не высыпается из моих карманов, я даже трубу свою продал, все продал, но эту историю, нет... эту я не потерял, она до сих пор со мной, чистая и необъяснимая, какой была музыка, когда ее, посреди Океана, играл маг-пианист Дэнни Будмэн С.Д.Лемон 1900-й.

*(Актер скрывается за кулисой. Играет оркестр. С последним аккордом актер возвращается на сцену).*

Матроса, который нашел его, звали Дэнни Будмэн. Он обнаружил его утром, когда все сошли с корабля в Бостоне, лежащим в картонной коробке. Было ему дней десять, не больше. Он даже не плакал, лежал тихонько с открытыми глазами в этой коробке. Его оставили в танцзале первого класса. На рояле. Однако было непохоже, что это был новорожденный того же класса. Такое делали обычно эмигранты. Рожали где-нибудь в укромном уголке, а затем оставляли там. И не потому, что негодяи. Причиной была нищета, безнадежная нищета. Что-то, напоминающее историю с одеждой... они поднимались на борт в одном единственном, собранном с миру по нитке костюме, с заплатанными задницами. Но позже, учитывая, что Америка - всегда Америка, вы видели их, как они покидали корабль в конце пути одетых совершенно прилично, даже в галстуках, мужчин и детей в белых рубашках, - в общем, они знали свое дело и все двадцать дней плавания кроили и шили, и в конце на судне невозможно было отыскать ни одной занавески и ни одной простыни, ничего: все они превратились в пристойную одежду для Америки...

Время от времени от них на корабле оставался брошенный ребенок - лишний голодный рот для эмигранта и головная боль для иммиграционного ведомства. В некотором смысле он оставался в обмен на занавеси и простыни. И с этим дитем дело, по всей вероятности, обстояло именно так. Ход рассуждения, видимо, был таким: если мы его положим на концертный рояль в танцзале первого класса, может быть, его подберет какой-нибудь богатей и обеспечит ему счастливую жизнь. Это был неплохой план. Но реализованный лишь наполовину. Богатым он не стал, а вот пианистом стал. И клянусь, лучшим из всех.

Итак. Старина Будмэн, найдя его там, поискал что-нибудь, что объяснило бы, кто он такой. Но увидел только надпись на коробке, сделанную синими чернилами: С.Д.Лимони. А рядом - нечто вроде рисунка лимона. Тоже синего цвета. Дэнни был негр из Филадельфии, диковинный гигант. Он сжал ребенка в ладонях и сказал ему: «Привет, Лемон!». И что-то сработало у него внутри, вроде чувства, что он стал отцом. И в течение всей своей жизни он постоянно утверждал, что буквы С.Д. означали: «Спасибо, Дэнни». Это конечно же, была нелепость, но он в это верил искренне. И он оставил этого ребенка себе. Он был убежден: С.Д. - это Спасибо, Дэнни. Однажды ему принесли газету, в которой была напечатана реклама, изображавшая лимон с лицом идиота и тонкими-тонкими усиками, как у латинского любовника, а рядом был нарисован еще один огромный лимон и надпись гласила: Сано Дамато, королевские лимоны, и какой-то сертификат или награда, в общем, что-то в этом роде... Сано Дамато... Старина Будмэн был конкретен: «Кто этот педераст?». И забрал газету себе, так как рядом с рекламой были напечатаны результаты скачек. Не то, чтоб он делал ставки на них, нет, ему просто нравились имена лошадей, вот и все. Это было его настоящей страстью, он всегда тебе говорил: «Послушай это, вот это вот, она бежала вчера в Кливленде, слушай сюда, они назвали ее Красные круги, понимаешь, ну можно ли так, а это, смотри, Первая лучше, ну не умора!». Короче, ему нравились имена лошадей, и это была страсть. Кто выигрывал, для него не имело никакого значения. Были имена, и они приводили его в восторг.

Ребенку он сначала дал свое имя: Дэнни Будмэн. Единственное проявление тщеславия в его жизни. Затем добавил: С. Д. Лемон, именно так было написано на коробке, и к тому же, как он говорил, это солидно - иметь буквы посреди имени. «Все адвокаты имеют их», - подтвердил Берти Бум, механик, который получил несколько лет тюрьмы, благодаря адвокату, которого звали Джон П.Т.К. Уандер. «Если он станет адвокатом, я его убью», - заключил старина Будмэн, однако обе прописных буквы оставил, в результате получилось Дэнни Будмэн С.Д.Лемон. Это было красивое имя. Его пробовали на вкус, повторяя чуть слышно, старина Дэнни и другие, внизу, в машинном зале, с заглушенными машинами, во время стоянки у причала в порту Бостон. «Красивое имя, - сказал, наконец, старина Будмэн, - однако чего-то не хватает. Ему не хватает громкого окончания». Он был прав. Не хватало громкого конца. «Добавим слово среда, - сказал Сэм Стулл, официант. - Ты нашел его в среду, назови его Среда». Дэнни подумал немного. Потом засмеялся. «Есть идея получше, Сэм. Я нашел его в первый год этого долбанного века, не так ли?. И я назову его 1900-й». «1900-й?» «1900-й». «Но это же число!». «Было число, а стало имя». Дэнни Будмэн С.Д.Лемон 1900-й. Замечательно. Великолепно. Великое имя, Боже, действительно, великое имя. Он далеко пойдет с таким именем. Дэнни Будмэн С.Д.Лемон 1900-й смотрел на них и улыбался, они же остолбенели: никто не ожидал, что столь маленький ребенок может наложить столь большую кучу.

Дэнни Будмэн прослужил на судне еще восемь лет два месяца и одиннадцать дней. Во время шторма в Океане он получил удар сорвавшимся блоком прямо по спине. Три дня он боролся со смертью. У него было все отбито внутри, и ничто уже не могло его спасти. В те дни 1900-й был еще ребенком. Он уселся рядом с кроватью Дэнни и не разу не сдвинулся с места. Перед ним лежала стопка старых газет, и все три дня, делая неимоверные усилия, он читал умирающему старине Дэнни все результаты бегов, которые только мог найти в газетах. Он складывал буквы в слова, как учил его Дэнни, и при этом помогал себе пальцем, двигая им по строчкам. Он читал медленно, но читал. Так старина Дэнни и умер на шестом заезде в Чикаго, где Питьевая вода выиграла два корпуса у Супчика и пять у Синей крем-пудры. Он не мог не засмеяться, услышав эти имена, и, смеясь, дорвал все у себя внутри. Его завернули в парусину и вернули Океану. На парусине красной краской капитан написал: Спасибо, Дэнни.

Вот так, неожиданно, 1900-й стал сиротой во второй раз. Ему было восемь лет и он совершил уже около пятидесяти переходов между Европой и Америкой. Океан стал его домом. А что касается земли, он на нее так не разу и не ступил. Он ее, разумеется, видел. С борта, во время стоянок в портах. Но чтобы сойти на берег - нет, ни разу. Дело в том, что Дэнни боялся, что ребенка у него отнимут из-за какой-нибудь истории с документами и визами или чего-то в том же роде. Так 1900-й оставался всегда на борту - а в какой-то момент корабль опять уходил в плавание. Если уж быть точным, то 1900-го как бы даже и не существовал для этого мира: не было города, церковного прихода, больницы, тюрьмы, бейсбольной команды, где было бы записано его имя. У него не было родины, у него не было даты рождения, у него не было семьи. У него были его восемь лет, но официально он никогда не рождался.

«Эта история не может длиться долго, - говорили иногда Дэнни. - Кроме всего прочего, это противозаконно». Но Дэнни имел на это четкий ответ: «В задницу закон», - говорил он. И нечего было возразить на его аргумент.

Когда они прибыли в Саутхэмптон, в конце плавания, во время которого умер Дэнни, капитан решил, что наступил час поставить точку в спектакле. Он вызвал портовые власти и приказал своему заму привести 1900-го. Однако тот его так и не нашел. Его искали по всему судну в течение двух дней. И никакого результата. Он исчез. Никому не нравилась эта история, потому что, в конце концов, здесь, на Вирджинце, все привыкли к мальчишке, никто не осмеливался произнести это вслух, но...много ли нужно, чтоб броситься вниз с борта... и потом море делает, что хочет... Все очень переживали, когда через двадцать два дня судно ушло на Рио де Жанейро, без 1900-го на борту, и даже без никакого слуха о нем... Ракеты, сирены, фейерверк при отходе из порта, как всегда, но на этот раз все было иным, все чувствовали, что теряют 1900-го раз и навсегда, у всех были вымученные улыбки и у всех сжималось сердце.

На вторую ночь плавания, когда уже пропали из виду огни ирландского берега, Барри, боцман, влетел как безумный в каюту капитана, разбудил его и попросил, чтобы тот обязательно пошел и посмотрел, что происходит. Капитан выматерился, но последовал за боцманом.

В танцзале первого класса.

Полная темнота.

Люди в пижамах, у входа. Вышедшие из кают пассажиры.

А еще моряки и три черных комбинезона, поднявшиеся из машинного зала, а также Трумэн, радиотелеграфист.

Все молчат, созерцая.

1900-й.

Он сидел за роялем на стульчике, с недостающими до пола ногами.

И

играл

как самый настоящий Бог.

*(Звучит фортепьянная музыка, очень простая, медленная и пленительная).*

Он играл нечто никому не известное, но прекрасное. Это был не трюк, это играл именно он, это были именно его пальцы на клавишах, Бог знает, как это у него получалось. И надо было слышать, что выходило в результате. У стены стояла пожилая леди, в розовом капоте, с папильотками в волосах...мешок с деньгами, чтобы было понятнее, супруга американского страховщика,.. да, так вот, из ее глаз проливались огромные слезы, которые затем стекали по намазанной ночным кремом щеке, она смотрела и слушала, и плакала, не переставая. Когда рядом оказался капитан, кипящий от возмущения, когда он, кипящий буквально, появился рядом, богачка, шмыгнув носом, ткнула пальцем в сторону рояля и спросила:

«Как зовут?»

«1900-й.»

«Не мелодию, а мальчика.»

«1900-й.»

«Так же, как мелодию?!»

Это была та самая манера беседовать, более четырех-пяти реплик которой морской капитан не может вынести. Тем более, если он сию секунду обнаружил, что мальчишка, которого он считал мертвым, не только жив, но и научился за это время играть на рояле. Он оставил богачку там, где она стояла, с ее слезами и всем остальным, и, одетый в пижамные штаны и капитанский китель нараспашку, решительным шагом пересек салон. Он остановился, лишь когда подошел вплотную к роялю. Ему хотелось сказать многое в тот момент и среди прочего: «Где, черт побери, ты этому научился?», или хотя бы: «Где ты, черт тебя дери, прятался все это время?». Однако у него, как у многих, кто долго живет в казенном мундире, казенными давно сделались и мысли. Поэтому вот что он сказал:

«1900-й, все это абсолютно противоречит правилам».

1900-й прекратил играть. Он был немногословным ребенком, но с большими способностями к познанию нового. Он кротко посмотрел в глаза капитана и сказал:

«В задницу правила».

*(Шум шторма)*

Море проснулось / море взъярилось / волны в небо швырнуло / швырнуло воды / отняло у ветра тучи и звезды / взъярилось море / кто знает надолго ль / бушует весь день / когда же конец / всему этому мама / ответила мама / баюшки-баю / тебя баюкает море / валторна дарит покой / но ярость вокруг / и пена и боль / безумное море / везде куда падает взгляд / лишь чернота / и черные стены / и черные смерчи / и немы все мы / в ожидании / конца всего этого / и кораблекрушения / но я не хочу его мама / хочу я спокойной воды / тебя отражающей / застывшей / а здесь эти / стены нелепые / воды / уж рушатся / с шумом /

хочу я вернуться к воде что в покое

хочу я вновь море

и тишину

и свет

и летающих рыбок

в полете

над ним.

Первое плавание, первый шторм. Злой рок. Я так толком и не понял, каким оно было, это плавание, меня захватил шторм, самый убийственный в жизни Вирджинца. Глубокой ночью на нем сорвали зло и бросили на произвол стихии. Океан. Казалось, этому не будет конца. Тот, кому на судне назначено дудеть в трубу, когда начинается шторм, мало что может сделать толком. Он, конечно, может отказаться играть. Чтобы не портить дело. И чтобы принадлежать самому себе, растянувшись на кушетке в своей каюте. Однако я не мог долго выдержать этого. Разумеется, тебе лучше других, ты лежишь себе, но можешь быть уверен, рано или поздно у тебя прямо в мозгах вдруг начинает звучать фраза: ты плохо кончишь. Я не хотел кончить плохо, потому выкарабкался из каюты и поплелся бродить по судну. Я даже не знал, куда меня несло, шел всего лишь мой четвертый день на корабле, я радовался, если находил дорогу к сортиру. Маленькие плавучие города - эти посудины. Истинная правда. В итоге, картина ясна: швыряемый из стороны в сторону, чудом вписываясь в коридоры, я, в конце концов, заблудился. Ситуация препакостнейшая. Именно в этот момент появился некто, в элегантном темном костюме, он шагал спокойно, уж точно зная дорогу, казалось, он даже не чувствует качки, словно прогуливается по набережной Ниццы: и это был 1900-й.

Тогда ему стукнуло двадцать семь, но выглядел он старше. Я был уже знаком с ним: эти четыре дня мы играли вместе в оркестре, - но не более того. Я даже не знал, где его каюта. Конечно, мне порассказали кое-что о нем. Говорили странные вещи, например, что 1900-й ни разу не покидал это судно. Что родился на нем и с тех пор и живет. Все время. Двадцать семь лет, ни разу не ступив ногой на землю. Все это воспринималось как колоссальный розыгрыш... Рассказывали также, что он играет музыку, которой не может быть. Единственное, в чем я убедился воочию, это то, что каждый раз, прежде чем начать играть, там, в танцевальном салоне, Фриц Херманн, блондин, который ничего в музыке не понимал, но обладал смазливой физиономией, по причине чего и руководил оркестром, подходил к нему и просил тихим голосом:

«Будь добр, 1900-й, только то, что написано в нормальных нотах, о’кей?»

1900-й согласно кивал и играл по нормальным нотам, уставившись в какую-то точку прямо перед собой и никогда не глядя на руки, казалось, он весь где-то в другом мире. Тогда я его еще не знал, я думал, что он просто немного с приветом, и все.

Той ночью, в самый разгар шторма, он, с видом джентльмена на вакациях, наткнувшись на меня, потерянно сидевшего в каком-то коридорчике с лицом покойника, улыбнулся и сказал: «Пошли».

Если некто, кто играет на трубе в судовом оркестре, в разгар шторма встречает другого, кто говорит ему «пошли», тот, кто играет на трубе, может сделать только одно: пойти. И я пошагал за ним. Хотя шагал он. Я же... этому было иное название, скажем, у меня не было того достоинства, что у него, но как бы ни было, мы добрались до танцзала, а затем, шарахаясь из стороны в сторону - речь, естественно, обо мне, потому что он, казалось, скользил по рельсам, - мы достигли рояля. Никого, кроме нас, в зале не было. Было почти темно, только несколько бликов света там и сям. 1900-й кивнул мне на ножки рояля.

«Сними фиксаторы», - сказал он.

Корабль танцевал в свое удовольствие, стоило большого труда держаться на ногах, я не видел никакого смысла в том, чтобы освободить колесики инструмента.

«Если ты мне доверяешь, сними».

Он сумасшедший, подумал я, но фиксаторы снял.

«А сейчас поднимайся и садись сюда», - сказал 1900-й.

Я не понимал, что он задумал, не понимал, и точка. Я просто стоял и пытался удержать рояль, который заскользил, словно огромный кусок черного мыла. Ситуация была дерьмовой, клянусь, по самые уши в шторме, да еще с этим сумасшедшим, сидящим на банкетке - еще один кусок мыла, - с руками, замершими на клавишах.

«Если не сядешь сейчас, не усядешься никогда», - сказал, смеясь, этот сумасшедший.

*(Актер усаживается на, что-то среднее между качелями и трапецией).*

«О’кей! Посылаем все в задницу? О’кей. Есть много чего терять, согласен, ну, я сел на твой дурацкий стульчик, вот, уже сижу, и что дальше?»

«А дальше не бойся».

И начал играть.

*(Звучит соло на рояле. Что-то вроде вальса, нежного и светлого. Качели начинают раскачиваться, перемещая актера по сцене. И по мере того, как актер продолжает рассказ, амплитуда качания становится все больше, достигая кулис.)*

А теперь никто не обязан верить мне, я и сам бы, по правде говоря, не поверил никогда, если б мне это рассказали, но что было, то было, а случилось вот что: рояль заскользил по деревянному полу танцзала, а вместе с ним и мы, я и 1900-й, который играл, не поднимая глаз от клавиш, но, казалось, находясь где-то далеко отсюда, а рояль то следовал за волнами - отлив, прилив, то вращался вокруг себя, целясь прямо в витраж, и когда до него оставалась самая малость, замирал и мягко отправлялся обратно, я говорю вам, было такое ощущение, что море баюкает нас, и я ни черта ни понимал, и 1900-й играл, не прерываясь ни на мгновение, и было очевидно, что он не просто играет, он управляет им, этим роялем, вы понимаете, клавишами ли, нотами, не знаю, он вел его, куда хотел, это абсурд, но это было так. И в то время, как мы кружились между столиками, сбивая лампы и кресла, я понял, как называется то, что мы в этот момент делали: мы вальсировали с Океаном, мы и он, безумные танцоры, и прекрасные, слившиеся в едином волнующем танце, на золотистом паркете ночи. О, йес!

*(Актер со счастливым лицом начинает кувыркаться на своих качелях, в то время, как Океан закипает, корабль «танцует» и музыка, напоминающая вальс, сопровождаемая звуковыми эффектами, то ускоряет темп, то замедляет, то вообще останавливается, как бы «управляя» танцем. В ходе сложной эквилибристики актер ошибается маневром и внезапно летит за кулису. Музыка делает попытку «затормозить», но поздно. Актер успевает воскликнуть:*

«О, Боже!»

*и выбегает на сцену из боковой кулисы, согнувшись. Слышится звук бьющегося стекла, падающих предметов, гигантского беспорядка. Дальше тишина. Актер заглядывает за кулису).*

1900-й сказал, что нужно бы еще усовершенствовать этот номер. Я сказал, что, в сущности, речь может идти только об управлении тормозами. Капитан же, как только шторм закончился, сказал *(кричит возмущенно):* «СВИНЬИ ВОНЮЧИЕ ВЫ ОБА ВАЛИТЕ ОТСЮДА В МАШИННЫЙ ЗАЛ И НЕ ВЫСОВЫВАЙТЕСЬ ПОКА Я ВАС НЕ ПРИБИЛ ВОТ ЭТИМИ РУКАМИ И ЗАРУБИТЕ НА НОСУ ЧТО ЗАПЛАТИТЕ ЗА ТО ЧТО РАЗНЕСЛИ ТУТ ВСЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЦЕНТА БУДЕТЕ РАБОТАТЬ ЦЕЛУЮ ЖИЗНЬ И ЭТО ТАК ЖЕ ВЕРНО КАК ТО ЧТО ЭТА ПОСУДИНА НАЗЫВАЕТСЯ ВИРДЖИНЕЦ А ВЫ ДВОЕ САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПРИДУРКИ КОТОРЫЕ КОГДА-ЛИБО ПОЯВЛЯЛИСЬ НА ОКЕАНСКИХ ПРОСТОРАХ».

Там, внизу, в машинном зале, той ночью 1900-й и я стали друзьями. Закадычными. И навсегда. Мы проводили время, подсчитывая, сколько может стоить в долларах все, что мы порушили. И чем больше возрастал счет, тем больше мы смеялись. И сейчас, когда я вспоминаю все это, мне кажется, то, что мы тогда чувствовали, было счастьем. Или чем-то в этом роде.

Именно той ночью я задал ему вопрос: правда ли, что рассказывают о нем и о корабле, что он, дескать, родился на нем и все прочее... и правда ли, что он никогда не сходил на берег. Он ответил: «Да».

«Истинная правда?»

Он ответил со всей серьезностью:

«Истинная правда.»

И я не знаю, отчего, но в тот момент я ощутил всем своим нутром, противясь этому, мгновенный холод: и это был ледяной ужас.

Ужас.

Как-то раз я спросил 1900-го, о чем он все время думает, когда играет, что видит, уставившись в одну точку, и где витает, в то время как его пальцы бегают по клавишам. И он сказал мне: «Сегодня я был в прекрасной стране, где у женщин благоухающие волосы, повсюду свет и множество тигров».

Он, оказывается, путешествовал.

И всякий раз оказывался в разных местах: в центре Лондона, на поезде, пересекающем равнину, на горе, такой высокой, что снег доходил тебе до пояса, в церкви, самой большой в мире, где он считал колонны и вглядывался в лица распятых. Он путешествовал. Было трудно представить, что мог он знать обо всем этом: о церквях, о снеге, о тиграх... я хочу сказать, что он ведь ни разу не покидал судно, ни разу, и это не было розыгрышем, это было правдой. Он никогда не сходил на берег. И все же создавалось впечатление, будто он все видел своими глазами, все-все. 1900-й был из тех, кто, если ты ему говорил: «Однажды я был в Париже», - спрашивал тебя, а видел ли ты такие-то сады, и ел ли в таком-то ресторанчике, он знал все, он говорил тебе: «Что мне нравится там, в Париже, так это ожидать захода солнца, прогуливаясь взад и вперед по Понт Неф, и когда проплывают баржи, останавливаться, смотреть на них сверху и махать им рукой».

«1900-й, но ведь ты никогда не бывал в Париже».

«Не бывал».

«Что ж ты тогда?..».

«Да».

«Что да?»

«Париж!»

Можно было подумать, что он безумен. Но все было не так просто. Когда кто-то тебе рассказывает с абсолютной достоверностью, чем пахнет воздух на Бертам- стрит летом, сразу же после дождя, ты же не думаешь, что он чокнутый только по одной дурацкой причине, что он на этой самой Бертам никогда не был. Из чьих-то глаз, из чьих-то слов он этот воздух, этот воздух, вдохнул на самом деле. По- своему, но на самом деле. Мира, и правда, он никогда и не видел. Но уже двадцать семь лет мир проходил через этот корабль, и в течение двадцати семи лет на этом корабле он внимательно этот мир наблюдал. И крал себе его душу

В этом он был гением, ничего не скажешь. Он умел слушать. И умел читать. Нет, не книги, в этом мы все мастаки - он умел читать людей. Следы жизни, которые носят на себе люди: места, звуки, запахи, их землю, их истории... Все, на них запечатленное. Он считывал это и с необычайной тщательностью систематизировал, раскладывал по полочкам и приводил в порядок... Каждый день он добавлял маленькую клеточку к той необъятной карте, которую рисовал в голове, карте цельного мира, от полюса до полюса: гигантские города и уголки баров, протяженные реки и грязные лужи, самолеты, львы - все на единой изумительной карте. И он парил над нею, словно Бог, в то время как его пальцы скользили по клавишам, ведомые ритмами регтайма.

Нужно было, чтобы прошли годы, прежде чем однажды я набрался храбрости и спросил его об этом. «1900-й, почему ты, Бог мой, не сойдешь на берег, хотя бы один разок, почему не отправишься взглянуть на мир своими собственными глазами, именно своими. Почему ты остаешься в этой плавучей тюрьме, ведь ты мог бы стоять на твоем Понт Неф и смотреть на баржи и остальное, ты смог бы делать все, что пожелаешь, ты играешь на рояле, как Бог, от твоей игры люди сходят с ума, ты бы заработал кучу денег и позволил бы себе иметь самый красивый дом из всех возможных, построив его хоть в форме корабля, кто тебе помешает, ты можешь отправиться, куда захочешь, хоть к тиграм, хоть на Бертам-стрит...святой Бог, ты же не можешь продолжать жить, словно обезьяна в клетке... ты не обезьяна, ты великий музыкант, и мир, он там, и до него только этот проклятый трап, несколько дурацких ступенек, Боже, а дальше все, за последней ступенькой весь мир. Почему же ты не прекратишь все это и не уйдешь отсюда, хотя б один разочек, всего один разочек?»

1900-й... Почему ты не сойдешь на берег?

Почему?

Почему?

Это случилось летом 1931 года, когда на борт Вирджинца взошел Джелли Ролл Мортон. Весь в белом, в белой шляпе. И вот с таким брильянтом на пальце.

Всякий раз, когда он давал концерты, он писал на афишах: сегодня вечером Джелли Ролл Мортон, создатель джаза. Так он писал не для красного словца: он на самом деле был убежден, что джаз изобретен им. Он был пианистом. Всегда играл, сидя перед инструментом на самом краешке стула, и руки его походили на бабочек. Такими легкими они казались. Начинал он в борделях Нью-Орлеана, там он и научился легкому скольжению по клавишам и нежному перебору нот: на верхнем этаже занимались любовью и не хотели шума. Они хотели музыки, которая ласково касалась бы занавесей и постелей, никого не тревожа. Он делал такую музыку. И в этом ему, точно, не было равных.

Кто-то однажды поведал ему о 1900-ом. Должно быть, нечто в таком роде: лучше этого парня никто не играет. Величайший пианист в мире. Может почудиться абсурдным, но так и было: не сыграв ни одной ноты за пределами Вирджинца, 1900-й, тем не менее, стал своего рода знаменитостью, маленькой легендой. Те, кто сходил с корабля, рассказывали о странной музыке и пианисте, который, похоже, имел четыре руки, столько нот он мог взять сразу. В связи с ним ходили забавные истории, иногда даже правдивые, как, например, об американском сенаторе Вильсоне, который просидел все плавание в третьем классе, потому что именно там играл 1900-й, когда освобождался от «нормальных» нот, написанных кем-то, и играл свои, которые не были нормальными. Там, внизу, у него тоже был рояль, он спускался к нему в полдень или поздно ночью. Сначала слушал: он хотел, чтобы люди пели для него свои песни, которые ему нравились, и всякий раз кто-нибудь извлекал на свет гитару или гармонию и начинал играть мелодии, о которых никто не знал, где они родились... 1900-й внимал. Потом начинал мягко перебирать клавиши в то время, как остальные пели или играли, он продолжал перебирать клавиши, и постепенно это становилось настоящей музыкой, рояль рождал звуки и они уплывали к небу, и это были звуки иного мира. В них было все: все сразу, все мелодии земли. Было от чего столбенеть. Вот он и остолбенел, сенатор Вильсон, когда услышал эти звуки. Так вот, о третьем классе: он, само изящество, посреди зловония, а это была та еще вонища, в третьем классе, и его должны были силой стащить с корабля в конце плавания, потому что будь его воля, он провел бы на судне, слушая 1900-го, все те окаянные годы, что осталось ему прожить. Честное слово. Об этом писали газеты, это случилось на самом деле. Все было именно так.

В общем, кто-то пришел к Джелли Ролл Мортону и сказал ему: на этом корабле есть некто, кто делает с роялем, что хочет. И когда хочет, играет джаз, а когда не хочет, играет такое, что может сыграть только десяток джазов, собранных вместе. Джелли Ролл Мортон имел еще тот характерец, это знали все. Он сказал: «Как может играть хорошо человек, который даже не разу на берег не сходил с этого дурацкого парохода?». И принялся хохотать как сумасшедший, он, создатель джаза! Тем бы и кончилось, если б пришедший не сказал ему: «Смейся-смейся, пока, потому что если он решит сойти на берег, тебе останется играть в борделях, хорошо играть, но в борделях». Джелли Ролл Мортон перестал хохотать, вынул из кармана маленький пистолет с перламутровой рукояткой, приставил его к голове типа, сказавшего ему эти слова, но не выстрелил, а только спросил: «Где этот долбанный корабль?».

То, что пришло ему в голову, было: дуэль. В те годы дуэли были в моде. Люди вызывали друг друга сразиться в мастерстве и в результате выявляли победителя. То, что надо для музыкантов. Никакой крови, немного ненависти, черной ненависти в душе, ноты и алкоголь. Дуэль могла длиться целую ночь. Именно дуэль имел в виду Джелли Ролл Мортон, чтобы положить конец этой истории с океанским пианистом и прочей чушью. Чтобы покончить с этим раз и навсегда. Проблема была в том, что 1900-й, по правде говоря, на стоянках в портах не играл никогда, не хотел играть, и все тут. Едва показывалась земля, порт, он вставал из-за рояля. Он играл лишь там, где желал. А желал он это делать исключительно в открытом море, когда земля становилась далекими огнями, или воспоминанием, или надеждой. Так он был устроен. Джелли Ролл Мортон многократно выматерился, затем заплатил за билет туда и обратно и взошел на борт Вирджинца, он, ни разу не ступивший ни на один пароход, если только тот не курсировал по Миссисипи. «Это самый идиотский поступок, который я когда-либо совершал в своей жизни», - сказал он, перемежая слова ругательствами, журналистам, пришедшим попрощаться с ним на мол номер 14 в бостонском порту. После чего заперся в каюте в ожидании, когда земля превратится в далекие огни, или воспоминание, или надежду.

Что до 1900-го, то он почти не интересовался этим делом. Он даже толком не мог понять, в чем оно состоит. Дуэль? А зачем? Однако любопытно ему было. Он хотел узнать, что представляет собой игра основателя джаза. Он называл его так на полном серьезе, он верил в то, что тот действительно изобрел джаз. Уверен, что он думал еще и научиться у него чему-нибудь. Чему-нибудь новенькому. Так он был устроен, 1900-й. Похоже на старину Дэнни: того тоже не интересовал смысл состязания, ему было абсолютно наплевать на то, кто выиграл, его изумляло все остальное. Все - что остальное.

На второй день плавания, в 21.37, когда Вирджинец со скоростью 20 узлов двигался в сторону Европы, Джелли Ролл Мортон собственной персоной появился в танцевальном зале первого класса, элегантный и весь в черном. Присутствующие прекрасно знали, что делать. Танцовщицы прекратили танец, мы, в оркестре, положили инструменты, бармен налил виски, публика умолкла. Джелли Ролл Мортон взял виски, подошел к роялю и посмотрел в лицо 1900-го. Ничего ему не сказал, но всем послышалась фраза: «Встань отсюда».

1900-й поднялся.

«Вы тот самый, кто изобрел джаз, не так ли?»

«Так. А ты тот самый, кто играет только, если Океан под задницей, не так ли?»

«Так».

Так они представились друг другу. Джелли Ролл Мортон зажег сигарету, положил ее на край рояля, уселся за него и начал играть. Регтайм. Но таким образом, каким его никто никогда раньше не слышал. Мортон не играл, он едва касался клавиш, музыка струилась, словно шелковая комбинация, соскальзывающая с тела женщины и провоцирующая ее тем самым на танец. В этой музыке были все бордели Америки, но бордели первоклассные, где даже гардеробщицы прекрасны. Джелли Ролл Мортон закончил едва уловимыми нотками, все выше и выше, на самом краю клавиатуры, словно маленький водопад жемчуга осыпался на мраморный пол. Сигарета по-прежнему лежала на том же месте, на борту рояля, она сгорела наполовину, но пепел даже не упал. Я бы сказал, что он не хотел падать, чтобы не создавать шума. Джелли Ролл Мортон взял сигарету двумя пальцами, своими пальцами-бабочками, как я уже говорил, взял сигарету, и пепел остался на ней, быть может, и это был трюк, не знаю, но он не падал. Создатель джаза поднялся, подошел к 1900-му, сунул ему под нос сигарету, всю, включая пепел, и сказал:

«Твоя очередь, морячок».

1900-й засмеялся. Он развлекался. Причем на полном серьезе. Он уселся за рояль и сделал самое дурацкое из всего, что он мог сделать. Он сыграл *Вернись назад, папуля,* абсолютно идиотскую песенку, детскую вещицу, он услышал ее от одного эмигранта несколько лет назад и с тех пор не мог от нее избавиться, она ему нравилась, честное слово, не знаю, что уж он в ней нашел, но она ему нравилась, он считал ее безумно трогательной. Но, конечно, ее никак нельзя было считать аргументом в этом споре. Захоти, даже я мог бы сыграть ее. Он исполнил ее, слегка хулиганя басами, что-то сдваивая, добавив два-три своих фирменных вольта, но в целом как она была идиотской штукой, так и осталась. У Джелли Ролл Мортона было лицо человека, у которого украли новогодние подарки. Он испепелил 1900-го яростным взглядом и вновь уселся за рояль. И заиграл блюз, который выбил бы слезу даже у немецкого машиниста, сдавалось, что весь хлопок всех негров мира был в этой музыке, он собирал этот хлопок своими нотами. Это была вещь, за которую можно отдать душу. Все присутствующие вскочили на ноги и зааплодировали. Джелли Ролл Мортон не отреагировал даже намеком на поклон, никак, всем своим видом показывая, что он ни на минуту не сомневался в таком финале этой истории.

Теперь ждали ответа 1900-го. Начало не предвещало ничего хорошего, потому что он сел за рояль с глазами, полными слез, - реакция на блюз, он был потрясен и его можно было понять. И самым настоящим абсурдом было то, что он, хранящий в своей голове и пальцах столько музыки, принялся играть блюз, который он только что прослушал. «Он был так прекрасен», - сказал он мне на следующий день, чтобы, вы только подумайте, оправдаться. Он на самом деле понятия не имел, что такое дуэль, просто никакого представления. Итак, он заиграл тот же блюз. Но в его голове он трансформировался в серию аккордов, тягучих, следующих друг за другом длинной очередью, а в них вселенская тоска. Он играл, нависая над клавиатурой, наслаждаясь каждым из своих аккордов, необычайных, диссонирующих друг с другом, отдаваясь наслаждению целиком. В отличие от остальных - потому что когда он закончил, несколько человек засвистели.

В эту минуту Джелли Ролл Мортон окончательно потерял терпение. Он не просто подошел к роялю, он подскочил к нему. Может быть, ему показалось, что он лишь прошептал слова, обращенные к 1900-му, но все четко расслышали их:

«Ну, сейчас я поставлю тебя раком, мудак».

И заиграл. Нет, заиграл - не то слово. Это было жонглерство. Акробатика. Все, что возможно сделать с клавиатурой в 88 черно-белых клавиш, он сделал. На противоестественной скорости. Не запнувшись ни на единой ноте, не дрогнув ни одним мускулом лица. Это даже не было музыкой: это был иллюзион, колдовство, прекрасное и совершенное. Это было чудо, клянусь всеми святыми, чудо. Люди сошли с ума. Они визжали и хлопали, они никогда прежде такого не слышали. Все происходящее напоминало празднование Нового года. Сквозь этот бедлам я протолкался к 1900-му и увидел его сидящим с лицом, на котором было написано глубочайшее разочарование. Перемешанное с изумлением. Он посмотрел на меня и сказал:

«Но он же совершенное убожество...».

Я не отвечал. Мне нечего было ответить. Он нагнулся ко мне и сказал:

«Дай мне сигарету. Давай, давай...».

Это было так неожиданно, что я протянул ему сигарету. Дело в том, что он никогда ни курил. Он взял сигарету, повернулся и пошел к роялю. В зале сначала притихли, поняв, что он собирается играть, затем послышались ядовитые реплики, смешки и даже свист, так уж устроены люди: всегда ведут себя по-свински по отношению к тем, кто проигрывает. 1900-й терпеливо переждал, пока в зале установится тишина. Потом бросил взгляд на Джелли Ролл Мортона, который стоял у стойки бара, с бокалом шампанского в руке, и произнес:

«Ты сам напросился, пианист дерьмовый».

Положил сигарету на край рояля.

Незажженную.

И начал играть.

*(Звучит фортепьянная пьеска сумасшедшей виртуозности, словно играют в четыре руки. Длится она не более полминуты и завершается взрывом мощнейших аккордов. Актер ждет, когда музыка замолкнет, затем продолжает).*

Вот так.

Публика внимала, не дыша. Как под гипнозом. Все сидели, вперившись взором в рояль, с отвисшими челюстями, словно классические придурки. Такими и оставались, храня тишину и боясь шевельнуться, даже после того убийственного финального гейзера аккордов, когда, казалось, играют сто рук, когда, казалось, рояль должен вот-вот взорваться. И в этой сумасшедшей тишине 1900-й поднялся, взял мою сигарету, наклонился над клавиатурой и приложил сигарету к струне.

Легкое потрескивание.

Он поднял сигарету над роялем - она была зажжена.

Клянусь.

Как же красиво она горела.

1900-й держал сигарету в руке, словно маленькую свечу. Он не курил и даже не знал, как ее держат в пальцах. Он сделал несколько шагов по направлению к Джелли Ролл Мортону. Протянул ему сигарету.

«Кури ты. Я в этом не мастак».

И тут публика очнулась от колдовства. Это был апофеоз криков и оваций, бедлам, не знаю, как еще назвать, но я никогда не видел ничего подобного, все орали, все хотели дотронуться до 1900-го, ничего нельзя было понять. А я смотрел на него, на Джелли Ролл Мортона, он одиноко стоял посреди всей этой кутерьмы, нервно курил проклятую сигарету, пытаясь найти лицо, какое надо бы сделать, но не находил, он даже не знал толком, куда спрятать глаза, в какой-то момент рука его задрожала, задрожала, точно, и я это увидел, и не забуду этого никогда, она дрожала так сильно, что пепел сорвался с сигареты и осыпался, сначала на его шикарный черный костюм и затем, соскользнув, на правый ботинок, черный лакированный ботинок, он посмотрел на него, я это помню хорошо, посмотрел на ботинок, на пепел и понял, понял все, что нужно было понять, он понял, повернулся кругом и тихо ступая, шаг за шагом, так аккуратно, что даже не потревожил пепла на ботинке, пересек огромный зал и скрылся из глаз. Со своими ботинками черного лака, с кучкой пепла на одном из них, он уносил его, и было абсолютно ясно, что если кто и выиграл дуэль, то не он.

Джелли Ролл Мортон провел остаток плавания, закрывшись у себя в каюте. На первой же стоянке в Саутхемптоне он покинул Вирджинец. На следующий день он отплыл в Америку. Другим судном. Он больше не хотел ничего слышать ни о Вирджинце, ни о 1900-ом, ни о чем таком прочем. Он хотел вернуться домой и баста.

С палубы третьего класса, опершись о переборку, 1900-й наблюдал, как тот сходил на берег в своем шикарном белом костюме и кучей красивых чемоданов светлой кожи. И я помню, что он произнес всего одну фразу:

«И джаз тоже в задницу».

Ливерпуль - Нью Йорк - Ливерпуль - Рио де Жанейро - Бостон - Корк -Лиссабон - Сантьяго ди Чили - Рио де Жанейро - Антильские острова - Нью Йорк - Гамбург - Нью Йорк - Генуя - Флорида - Рио де Жанейро - Флорида -Нью Йорк - Генуя - Лиссабон - Рио де Жанейро - Ливерпуль - Рио де Жанейро - Ливерпуль - Нью Йорк - Корк - Шербург - Ванкувер - Шербург -Корк - Бостон - Ливерпуль - Рио де Жанейро - Нью Йорк - Ливерпуль - Сантьяго ди Чили - Нью Йорк - Ливерпуль, Океан - и мы посредине. И там, в этой точке, упала картина.

Меня всегда занимали подобные случаи с картинами. Висят-висят годами, потом, вдруг, ничего вроде и не происходит, повторяю, ничего, бац, и падают вниз. То есть висят на гвоздях, никто до них даже не дотрагивается, но в какую-то конкретную секунду, бац, валятся, как камни. Абсолютная тишина, вокруг ни движения, даже муха не пролетает, а они, бац. И ни одной объяснимой причины. Почему именно в это мгновение? Неизвестно. Бац! Что случается с гвоздем, что заставляет его решить: ну не могу больше? Неужели и у него, бедолаги, есть душа? И она принимает решение. И они обсуждают это долго с картиной, они не уверены, как лучше поступить, они спорят об этом все вечера, многие годы, потом назначают дату, время, и вот, бац! Они уже знали дату, в самом начале знали, оба, гвоздь и картина, уже было все договорено, смотри, я держу тебя в течение семи лет, для меня достаточно, о’кей?, тогда решено, 13 мая, о’кей?, в шесть, нет, лучше без четверти шесть, согласен?, тогда спокойной ночи. Шесть лет спустя, 13 мая, без четверти шесть: бац! Непонятно. Правда, есть вещи, о которых чем меньше думаешь, тем лучше, иначе уедет крыша. Когда вдруг падает картина. Когда ты просыпаешься утром рядом с женщиной и понимаешь, что больше не любишь ее. Когда открываешь газету и читаешь, что началась война. Когда видишь поезд и думаешь: пора убираться отсюда. Когда смотришь в зеркало и замечаешь, как постарел. Когда посреди Океана 1900-й поднимает взгляд от тарелки и говорит тебе: «В Нью Йорке через семь дней я сойду с корабля».

И я столбенею.

Бац!

Это картине не задашь вопрос. А 1900-му можно. Я оставил его в покое на короткое время, а затем начал изводить, я хотел понять, почему он так решил, что за причина должна быть, если человек проводит тридцать два года на одном и том же судне и вдруг однажды внезапно собирается сойти с него, как ни в чем ни бывало, даже не удосужась объяснить, почему, своему лучшему другу.

«Я должен увидеть одну вещь, там, внизу», - сказал он.

«Какую вещь?»

Он не хотел называть ее, почему, стало понятно после того, как, наконец, я выудил ее из него. Это было:

«Море».

«Море?!»

«Море».

Ничего себе. Я ожидал чего угодно, только не этого. Я не хотел в это верить, я и не верил, что мне можно так пудрить мозги. Это была самая большая херня века.

«Уже тридцать два года ты его видишь, море,1900-й!».

«Отсюда. Я хочу увидеть его оттуда. Это не одно и то же».

Боже правый. Мне казалось, я разговариваю с ребенком.

«Ну хорошо. Дождись прихода в порт, сойди на берег и смотри себе на здоровье. Но это то же самое».

«Нет не то же».

«Кто тебе это сказал?»

А сказал ему об этом один тип по имени Бастер, Линн Бастер. Крестьянин. Из тех, что живут сорок лет, работая как мулы, и все, что они видят, это работа в поле и один или два раза, в день ярмарки, большой город, в нескольких километрах от их лачуги. Только однажды засуха все отняла у него, жена сбежала с проповедником неизвестно чего, а детей унесла лихорадка, сразу обоих. В общем, повезло, как утопленнику. Он собрал пожитки и потопал пешком через всю Англию, чтобы добраться до Лондона. Ну а поскольку о дороге туда он не имел ни малейшего представления, то вместо того, чтобы придти в Лондон, он оказался в полузаброшенном селении, от которого дорога, делая два поворота и обогнув холм, неожиданно открывает взору море. Он никогда прежде моря не видел и был поражен им словно молнией. Оно и спасло его, если поверить его словам. Он говорил: «Это как крик исполина, который кричит и кричит, а кричит он вот что: банда рогоносцев, жизнь такая необъятная, вы можете это понять или нет? Необъятная». Он, Линн Бастер, прежде никогда об этом не задумывался. Ему и в голову придти не могло подумать о подобном. Словно революция произошла в его черепушке.

Быть может, то же самое случилось и с 1900-ым... ему также никогда не приходила в голову похожая мысль, что жизнь необъятна. Может быть, он подозревал это, но никто не крикнул ему таким образом. И он заставлял этого Бастера рассказывать сотни раз историю о кричащем море, и, наконец, решил, что и сам должен испытать тоже самое. Когда он принялся объяснять мне это, у него был вид человека, который объясняет тебе, как работает двигатель внутреннего сгорания, настолько это было научно.

«Я могу остаться и здесь, здесь, на судне, но море мне никогда ничего не скажет. А если я сойду, я буду жить на земле и земля на многие годы станет для меня обыкновенным домом, и я сделаюсь обыкновенным, пока однажды я не уеду из дома, не приду на какой-нибудь берег, не подниму глаза и не увижу море: вот оно, и я услышу то, что оно кричит мне».

Научно? Все это показалось мне наукообразной херней.

Я бы мог ему так и сказать, но не сказал. Все не так просто. Дело в том, что я его любил, 1900-го, и желал, чтобы он когда-нибудь покинул корабль и играл для людей там, на суше, и женился на симпатичной женщине, и завел детей и все остальное, нужное для жизни, которая, быть может, и не столь необъятна, однако прекрасна, если только у тебя есть немного удачи и желания жить. Словом, эта история с морем воспринималась мною как самая настоящая херня, однако если с ее помощью удавалось увести 1900-го отсюда, то она устраивала меня. Так что, в конце концов, я решил, что все к лучшему. Я сказал ему, что его решение правильно, и что я, в самом деле, доволен им. И что я дарю ему свое верблюжье пальто, чтобы он выглядел преуспевающим человеком, сходя по трапу на берег в пальто из верблюжьей шерсти. Он был этим растроган:

«Ты будешь иногда проведывать меня там, на суше?..»

Боже, у меня камень стоял вот тут, в горле, он мог заставить меня умереть, если б захотел. Я ненавидел прощания, я принялся смеяться громче, чем был способен, ситуация была мучительной, я ответил ему, что, разумеется, обязательно буду навещать его и мы будем вместе гонять его собаку по полям, и его жена приготовит нам индейку, и, не помню, какие еще глупости я говорил, а он смеялся, и я смеялся, но про себя мы оба знали, что правда заключается в другом, она состояла в том, что прежней жизни наступал конец, и этому ничто не могло помешать, это должно было случиться, к этому все шло: Дэнни Будмэн С.Д.Лемон 1900-й должен был покинуть Вирджинец февральским днем в порту Нью-Йорк. После тридцати двух лет, прожитых в море, он должен был ступить на сушу для того, чтобы увидеть море.

*(Звучит мелодия, напоминающая старинные баллады. Актер уходит в темноту, чтобы появиться в одежде 1900-й на верхней ступеньке трапа. Верблюжье пальто, синяя шляпа, в руке большой чемодан. Он стоит некоторое время на ветру неподвижно, глядя на что-то прямо перед собой. Он глядит на Нью-Йорк. Затем медленно спускается на первую ступеньку, вторую, третью. И здесь музыка резко прерывается, а 1900-й замирает. Актер снимает шляпу и поворачивается к публике).*

На третьей ступеньке он остановился. Неожиданно.

«Что случилось? Наступил на дерьмо?», - спросил Нил О’Коннор, ирландец, который никогда ни в чем ни хрена не понимал, но всегда пребывал в превосходном настроении.

«Что-нибудь забыл», - предположил я.

«Что?»

«Кто знает, что-то...».

«Может, он забыл, зачем спускается».

«Не городи ерунды».

Но почему-то же он остановился, одной ногой на второй ступеньке, другой - на третьей. И стоял так целую вечность. Он смотрел прямо перед собой, казалось, ища что-то. И вдруг сделал непонятную вещь: снял шляпу, перенес ее за поручень и разжал руку. Шляпа, похожая на странную птицу или синий блин с крыльями, пару раз кувырнулась в воздухе и упала в море. И закачалась на волнах. Нет, конечно, это была птица, а никакой не блин. Когда мы подняли глаза к трапу, то увидели, как 1900-й в своем верблюжьем пальто, в моем верблюжьем пальто, поднимается по этим двум ступеням, повернувшись спиной ко всему миру, со странной улыбкой на лице. Два шага - и он скрылся в глубине судна.

«Ты видел? Прибыл новый пианист», - сказал Нил О’Коннор.

«Говорят, что самый великий из всех», - сказал я. И я не знал, был ли я расстроен или безумно счастлив в эту минуту.

Что он увидел с этой треклятой третьей ступеньки, он не хотел мне рассказывать. Все это плавание и еще два, что мы проделали после этого, 1900-й оставался немного не в себе, говорил меньше, чем обычно, и казался погруженным во что-то глубоко личное. Мы не задавали ему вопросов. Не приставали. Он же делал вид, что ничего не произошло. Было очевидно, что-то с ним не так, но никто не решался подойти к нему, чтобы спросить, в чем дело. Так продолжалось несколько месяцев. Но однажды 1900-й вошел в мою каюту и медленно, на одном дыхании, произнес следующую фразу: «Спасибо за пальто, мне оно очень шло, это была ошибка, я бы в нем произвел фурор, но сейчас все идет на поправку, это прошло, ты не должен думать, что я несчастлив, я им больше никогда не буду».

Что до меня, я никогда и не уверял себя, что он может быть несчастлив. Он был не из тех, о ком ты задаешься вопросом, счастлив ли он. Он был 1900-й, и все тут. Тебе и в голову не приходило, что он может быть счастливым или страдать. Он казался вне всего этого, было похоже, что его ничего не трогало. Есть он и его музыка, остальное не в счет.

«Ты не должен думать, что я несчастлив, я никогда больше им не буду». Меня поразила эта фраза. Он произнес ее на полном серьезе, с лицом человека, который прекрасно знает, куда идти и куда он должен придти. Это как когда он садился за рояль и принимался играть, его руки не ведали сомнений и клавиши словно ждали от них его нот, и ноты казались предназначенными для них и только для них. Создавалось впечатление, что он творит эти ноты здесь же, за роялем - на самом деле ноты эти всегда существовали в его голове, в каком-то ее уголке.

Сегодня я понимаю, что в именно в тот день 1900-й принял решение сесть перед черными и белыми клавишами своей жизни, чтобы сыграть на них музыку бессмысленную и гениальную, сложную и прекрасную, самую великую из всех. И чтобы под эту музыку танцевало все то, что ему осталось прожить. Чтобы никогда больше не чувствовать себя несчастным.

Я сошел с Вирджинца 21 августа 1933 года. А поднялся на его борт шестью годами раньше. Мне же казалось: прошла целая жизнь. И сходил я не на день, не на неделю, я покидал судно навсегда. С необходимыми документами, с зарплатой задним числом за проработанные годы и со всем прочим. Как полагается. Я поставил крест на Океане.

Нельзя сказать, что мне не нравилась та жизнь. Это был несколько причудливый способ заставить ее платить по счетам, но он действовал. Мне только не удалось убедить себя в том, что это надолго. Конечно, если ты по профессии моряк, тогда другое дело, море - твое место работы, можешь оставаться на нем, пока не надорвешься и чувствовать себя в своей тарелке. Но тот, кто играет на трубе... Если ты играешь на трубе, морю ты чужак, им и останешься. Раньше или позже, но ты поступишь верно, решив вернуться домой. Лучше раньше, сказал я себе.

«Лучше раньше», - сказал я 1900-му. И он понял. Было видно, что ему не хочется видеть меня сходящим по трапу, покидающим судно навсегда, но сказать мне это... он бы не сказал мне это никогда. И так-то оно было лучше. В последний мой вечер мы играли вместе для обычных придурков из первого класса, пришел мой черед солировать, я вступил и через несколько нот услышал рояль, который сопровождал меня чуть слышно, с нежностью. И дальше мы шли вместе, и я играл лучше, чем умел, о Боже, я не был Луисом Армстронгом, но в этот вечер я играл, честное слово, не хуже него, с 1900-ым за плечами, и он подыгрывал моему соло, как мог это делать только он. Другие музыканты дали нам сыграть довольно большой кусок отдельно, моей трубе и его роялю, чтобы мы могли в последний раз рассказать здесь обо всем том, чего никогда не выскажешь словами. Люди вокруг нас продолжали танцевать, они ничего не замечали и не могли заметить, что они могли знать, они продолжали танцевать, как если б ничего не происходило. Быть может, кто-то и сказал соседу: «Глянь-ка на того с трубой, смех да и только, он пьяный или чокнутый. Посмотри внимательно на типа с трубой: он играет и плачет».

Как развивались события дальше, после того как я сошел на берег, это уже другая история. Может быть, мне бы удалось затеять что-нибудь стоящее, не встрянь я в эту проклятую войну. Война так усложнила всю мою жизнь, что я в ней окончательно запутался. Нужно было обладать другими мозгами, чтобы разобраться, что к чему. Нужно было иметь иные качества, которых у меня не было. Я умел играть на трубе, и все. Поразительно, насколько бесполезно это умение - играть на трубе, когда кругом идет война. А ты в ней по уши, и она тебя не отпускает.

Как бы то ни было, ни о Вирджинце, ни о 1900-ом я многие годы ничего не слышал. Не то, чтобы я про них забыл, я продолжал помнить о них всегда, мне даже случалось спрашивать себя: «Интересно, что сейчас сделал бы 1900-й, будь он тут, что бы сказал? Наверняка сказал бы: в задницу войну». Когда я произносил эти слова, это было совсем не то же самое. А когда мне становилось совсем уж плохо, я закрывал глаза и мысленно возвращался туда, на судно, в третий класс, и слушал эмигрантов, которые напевали оперные арии, и 1900-й, который играл какую-то свою музыку, я видел его руки, его лицо, и Океан вокруг. Я отдавался фантазии и воспоминаниям - порой это было единственное, что оставалось делать, чтобы спастись, другого способа не было. Фокус для бедных, но он срабатывал.

В общем, эта история закончилась. Или представлялась законченной. Но как-то однажды пришло письмо, его написал Нил О’Коннор, тот самый ирландец, который беспрерывно шутил. Его письмо, однако, было серьезным. Он писал, что Вирджинец вконец износился на этой войне, его использовали как плавучий госпиталь и к концу войны он был в таком состоянии, что от него решили избавиться. Оставшийся экипаж ссадили в Плимуте, судно нашпиговали динамитом, через какое-то время его оттащат в открытое море и прикончат: бум! И привет. Ниже следовала приписка: «У тебя найдется 100 долларов? Клянусь, я тебе их верну». Ниже еще одна: «1900-й и не подумал сойти на берег».

Только одна эта фраза: «1900-й и не подумал сойти на берег».

Я вертел письмо в руках несколько дней. Затем добрался на поезде до Плимута, поехал в порт искать Вирджинец, нашел, сунул охраннику немного денег, поднялся на судно, обошел его от макушки до дна, спустился в машинное отделение, уселся на один из ящиков, судя по всему, набитых динамитом, снял шляпу, положил ее на пол, и остался сидеть там, не зная что сказать/

...Я замер, сидя там и глядя вокруг, глядя на себя/

Динамит, динамит под его задницей, динамит повсюду/

Дэнни Будмэн С.Д.Лемон 1900-й

Ты бы сказал, что знал, что я приду, как всегда знал ноты, которые играл/

Твое лицо, постаревшее, но еще более красивое от этого, и без всяких следов усталости/

Никакого света на судне, только тот, что проникал извне/

Кто бы знал, какой была та ночь/

Белые руки, тщательно застегнутый пиджак, начищенные туфли/

Сойти на берег, неужели такое могло придти ему в голову/

В полумраке он казался принцем/

Разве бы ему пришло в голову сойти на берег, ну нет, он предпочел бы взлететь на воздух вместе с тем, что осталось от судна, в открытом море/

Великий финал, если смотреть на это вместе со всеми с мола, с берега, гигантский искусственный огонь, адью, падает занавес, дым и пламя, высоченная волна напоследок/

Дэнни Будмэн С.Д.Лемон

1900-й

На том судне, утонувшем во мраке, последняя память о нем - голос, чуть слышный, адажио, произносит/

/

/

/

/

/

*(Актер трансформируется в 1900-го)*

/

/

/

/

Весь этот город... он не видел этого финала.../

Финал, пожалуйста, вы не могли бы показать финал?/

И грохот/

На той проклятущей лестнице... все было очень красиво... и я был велик в том пальто, я шел навстречу моей удаче, я в этом не сомневался, и я сошел бы, это не было для меня проблемой/

В моей синей шляпе/

Первая ступенька, вторая ступенька, третья ступенька/

Первая ступенька, вторая ступенька, третья ступенька/

Первая ступенька, вторая ступенька/

Я увидел не то, что меня остановило/

Остановило то, чего я не увидел/

Ты можешь понять это, брат, остановило то, чего я не увидел...я искал это, но этого не было, в бескрайнем городе было все, за исключением этого/

Было все/

Но не было финала. То, чего я не увидел, находится там, где все оканчивается. Конец мира/

А сейчас, подумай, рояль. Клавиши начинают. Клавиши заканчивают. Ты знаешь, их 88, и в этом никто не сможет тебя надуть. То есть они не бесконечны. Ты, ты бесконечен. В этих клавишах бесконечная музыка, которую ты можешь создать. 88, их предел. У тебя предела нет... Это мне нравится. Со всем этим можно жить. Но если ты/

Но если я поднимаюсь по этой лестнице и передо мной/

Но если я поднимаюсь по этой лестнице и передо мной разворачивается клавиатура в миллионы клавиш, в миллионы и миллиарды/

Миллионы и миллиарды клавиш, им нет конца, и это истинная правда, что им нет конца, что эта клавиатура бесконечна/

Если эта клавиатура бесконечна, тогда/

Но в этой клавиатуре нет музыки, которую ты можешь сыграть. Ты ошибся местом, оно за роялем, на котором играет Бог/

Иисусе, ты видел пути?

Только пути, их же огромное множество, как вы там, на суше, выбираете один из них, свой?/

Выбираете свою женщину/

Свой дом, свою землю, свой пейзаж для обзора, свой способ умереть/

Весь этот мир/

Тот мир вокруг тебя, который ты даже не знаешь, где кончается/

И как он велик/

Вы никогда не боитесь разлететься на тысячи осколков только от мысли об этом, об этой огромности, лишь только думая о ней? Живя в ней/

Я родился на этом судне. Мир проходил через него, по две тысячи человек за раз. Их желания тоже были здесь, но их было не больше, чем могло бы поместиться между носом и кормой. Я играл свое счастье на клавиатуре, которая не была бесконечной.

Так я постигал мир. Земля - тот же корабль, просто он слишком огромен для меня. Это очень длинное плавание. Это слишком красивая женщина. Это слишком сильный запах. Это музыка, которую я не умею играть. Извините меня. Но я не сойду. Позвольте мне вернуться назад.

Пожалуйста/

/

/

/

/

/

А сейчас постарайся понять меня, брат. Постарайся понять, если сможешь/

Весь этот мир отражается в моих глазах/

Ужасный, но прекрасный/

Чересчур красивый/

И страх, который вернул меня обратно/

Корабль, вновь и навсегда/

Кораблик/

Этот мир в глазах, все ночи, вновь/

Призраки/

Я готов умереть, если мне будет позволено/

Желание сойти на берег/

Страх сделать это/

Вот так сходишь с ума/

С ума/

Что-то же я должен был сделать и я это сделал/

Сначала я вообразил себе это/

Потом я это сделал/

Каждый день на протяжении многих лет/

Двенадцать лет/

Миллиарды мгновений/

Жест невидимый и очень медленный./

Я, который был неспособен покинуть это судно, чтобы спастись, я покинул свою жизнь. Ступенька за ступенькой. И каждая ступенька была отдельным желанием. На каждый шаг - свое желание, которому я говорил « прощай».

Я не сумасшедший, брат. Мы не сумасшедшие, когда находим способ спастись. Мы хитры, аки звери алчущие. Сумасшествие здесь не при чем. Гениальность - вот что это такое. Это - геометрия. Совершенство. Желания рвали мне душу. Я пытался прожить с ними, но мне это не удалось.

Тогда я их заколдовал.

Одно за другим я оставил их за спиной. Геометрия. Совершенная работа. Все женщины мира, я их заколдовал, играя всю ночь напролет для одной женщины, одной, прозрачная кожа, руки без украшений, стройные ноги, она качала головой в такт моей музыке, не улыбаясь, не отводя глаз, ни разу, целую ночь, и когда встала и ушла, из моей жизни ушла не она, ушли все женщины мира. Я заколдовал отца, каким я никогда не стану, я заколдовал его, глядя на умирающего ребенка, сидя несколько дней рядом, не упуская ничего из этого спектакля, кошмарного и прекрасного, я хотел быть последним, что бы он увидел в этом мире, прежде чем покинет его, и ушел не он, ушли все дети, которых я никогда не буду иметь. Земля, которая была моей землей, в какой-то крошечной части мира, ее я заколдовал, слушая пение человека, который шел с севера, и я слушал его песню и видел, видел долины, горы вокруг, медленно текущие реки, зимний снег, ночных волков, а когда этот человек закончил петь, закончилась моя земля, навсегда, где бы она ни находилась. Друзья, которых я желал, их я заколдовал, играя для тебя и с тобой в тот вечер, я видел их всех, моих любимых друзей, в твоем лице, в твоих глазах, и когда ты ушел, они все ушли с тобой. Я сказал «прощай» изумлению, когда увидел чудовищные айсберги в северных морях, побеждаемые теплом. Я сказал «прощай» чудесам, когда увидел смеющихся людей в ту секунду, как война разрывала их в клочья. Я сказал «прощай» ярости, когда увидел это судно, нашпигованное динамитом. Я сказал «прощай» моей музыке в тот день, когда мне удалось сыграть ее всю за одну ночь, в одно мгновение, и я сказал «прощай» радости, заколдовав ее, когда увидел тебя, сюда входящим. Это не сумасшествие, брат. Это геометрия. Это работа гравера. Я разоружил несчастье. Я развел их в стороны, мою жизнь и мои желания. Если б ты смог пройти моим путем, ты бы нашел их все, одно за другим, заколдованные, недвижимые, застывшие навсегда, словно вехи этого странного путешествия, о котором я никогда никому не рассказал, только тебе

/

*(1900-й удаляется в сторону кулисы).*

/

/

*(Останавливается, поворачивается к зрителям).*

А сейчас я вижу сцену: сюда поднялся некто, кто ищет мое имя в списке и не находит его.

«Как, вы говорите, вас зовут?»

«1900-й».

«Тосийский, Тотарбартоло, Торвалис, Тоцца...».

«Я тот, кто родился на этом судне».

«Простите?»

«Я родился на этом судне и умер здесь, не знаю, говорит ли вам это о чем-нибудь...».

«Кораблекрушение?»

«Нет. Взрыв. Шесть с половиной центнеров динамита. Бум!»

«А-а. А сейчас все в порядке?»

«Да-да, все превосходно... то есть... только проблема с рукой... потерялась рука... но меня заверили...».

«Не хватает одной руки?»

«Да. Знаете ли, взрыв...».

«Где-то здесь должна быть парочка... какой, говорите, не хватает?»

«Левой».

«А, черт!»

«О чем вы?»

«Знаете, боюсь, здесь только две правых».

«Две правых руки?»

«К сожалению, да. А вы, случаем, не могли бы, скажем...».

«Что?»

«Я хочу сказать, если вы возьмете правую руку...».

«Правую руку вместо левой?»

«Именно».

«Но... Хотя, в принципе, лучше уж правая, чем ничего...».

«Я тоже так думаю. Подождите минутку, я схожу за ней».

«А если я зайду через несколько дней, быть может, появится левая?»

«Послушайте, у меня тут одна белая, а другая от негра...»

«Нет, нет, одного цвета, пожалуйста... я ничего не имею против негров, это просто вопрос...».

Невезение. Целая вечность в Раю, с двумя правыми руками. *(Гнусавым голосом).* А сейчас перекрестимся!

*(Порывается сделать это, но останавливается. Смотрит на руки).*

Не знаешь, какой креститься.

*(Мгновение колеблется, потом быстро крестится обеими руками).*

Целая вечность, миллионы лет, производя впечатление юродивого.

*(Вновь крестится двумя руками).*

Ад. Рай. Ничего смешного.

*(Оборачивается, идет к кулисе, но не уходит, а вновь поворачивается к публике: его глаза блестят).*

Хотя... знаешь, музыку, тем не менее... этими руками, двумя, правыми.. был бы только рояль... *(Вновь становится серьезным).*

То, что у тебя, брат, под задницей, - динамит. Встань и уходи отсюда. Все кончено. На этот раз, действительно, все кончено.

Уходит.

КОНЕЦ